

Трент Арнольд

ЗАСТЫВШИЙ КАДР

СОДЕРЖИТ
НЕЦЕНЗУРНУЮ
БРАНЬ

18+

Трент Арнольд
Застывший кадр
Серия ««Психологическая
сага»», книга 1

<https://litres.ru/73782939>

SelfPub; 2026

Аннотация

В жизни Трент Арнольда нет хэппи-энда по сценарию. Здесь есть депрессия, которая кажется вечной; любовь, которая обжигает сильнее ненависти; и бегство от прошлого, которое преследует тебя даже в новом городе.

«Застывший кадр» — это хроника сломанного героя, который пытается собрать себя из осколков собственных ошибок. Эта книга — о том, как можно любить до безумия и предавать без злого умысла. О том, как иногда нужно отпустить прошлое, чтобы оно отпустило тебя. И о том, что надежда живёт там, где ты уже перестал её искать.

Содержание

Глава 1. Земля, где всё цвело	4
Глава 2. Мама	6
Глава 3. Отец	9
Глава 4. Бабушка Бадар	11
Глава 5. Отчим	17
Глава 6. Две китайские сумки	23
Глава 7. Мамины руки	30
Глава 8. Телефон	34
Глава 9. Школа	39
Глава 10. Бабушка Магрипа	45
Глава 11. Друзья	49
Глава 12. Сестра	54
Глава 13. Медицинский	59
Глава 14. Армия	68
Глава 15. Ася.	75
Конец ознакомительного фрагмента.	95

Трент Арнольд

Застывший кадр

Глава 1. Земля, где всё цвело

Далматовский район – это не город. Это сёла, поля, леса, река Исеть, которая петляет так, будто не знает, куда ей течь. Дома здесь невысокие, деревянные, с палисадниками, где бабушки сажают цветы. Улицы грунтовые, и после дождя они превращаются в кашу, в которой вязнут ноги, а машины буксуют до вечера.

Я помню запах этого места. Не один запах – много. Свежее сено, нарезанное под самую косьбу. Полевая пыль, которая поднимается за трактором и долго висит в воздухе. Хлеб из печи – мама пекла его не каждый день, но когда пекла, дом наполнялся теплом, даже если за окном было холодно. И ещё – цветы. В палисаднике, у дороги, в поле, где они росли сами по себе, без спроса и разрешения. Лето здесь было густое, медленное, словно мёд, который стекает с ложки.

Я любил выходить за калитку и смотреть вдаль. Там, за полем, за рекой, за перелеском, начиналось что-то большое. Я не знал, что это, но чувствовал: мир не заканчивается здесь. Он идёт дальше. И когда-нибудь я туда пойду.

Дом, где я рос, стоял на краю деревни. Не окраина, а именно край — за ним уже не было домов, только поле. Я помню, как просыпался ранним утром, когда солнце ещё только набирало силу, и слышал тишину. Она была плотной, почти осязаемой. А потом в неё вплетались звуки: петухи, мычание коров, лай собак, голоса соседей, которые начинали свой день. Эта тишина, пронизанная звуками, осталась во мне. Потом, когда я уехал в город, я долго не мог заснуть без неё.

Я родился здесь. Но почти не помню себя маленьким. Моя память начинается позже — с ощущений. С того, как мама держала меня, когда я не мог уснуть. С того, как бабушка смотрела на меня особенным взглядом, будто видела что-то, что другие не видят. С того, как я впервые долго смотрел в окно и не хотел никуда уходить.

Глава 2. Мама

Моя мама – обычная жительница Казахстана. Родилась и росла в большой семье. Детей было много – она не называла точное число, я не спрашивал. Важно было не количество, а то, что им всем не хватало: места, еды, внимания, тишины. Она была не старшей и не младшей – где-то в середине. До неё доходило то, что оставалось после других.

Она рассказывала редко. Я запоминал каждую историю, потому что их было мало. В основном молчала. Иногда, когда мы оставались вдвоём и за окном темнело, она начинала говорить. Словно в темноте слова давались легче.

– Мы вставали в пять утра, – говорила она. – Летом – раньше. Сначала по хозяйству, потом в школу. После уроков – снова домой. Полоть, стирать, готовить. Училась я хорошо, но про образование никто не думал. В той жизни думали о другом: как прокормиться, как не замёрзнуть зимой, как протянуть до весны.

Я слушал и пытался представить. Но я родился в другом мире. У меня была игрушка, тёплые вещи, хлеб на столе. Она всё это создала. Сама. В той большой семье её никто не учил быть матерью. Она просто стала ею.

– Я не хотела такой жизни для тебя, – сказала она однажды.

Я не понял тогда. А сейчас понимаю: она хотела, чтобы у меня было больше, чем у неё. Не вещей – выбора. Чтобы я мог выбирать, а не выживать. Чтобы у меня было детство, а не работа с пяти утра.

Я до сих пор не знаю, как она решилась. Взять и уехать из Казахстана, из большой семьи, из привычного мира. Приехать в Курганскую область, к человеку, который станет моим отцом. Она ведь ничего о нём толком не знала. Наверное, верила. Или надеялась.

Я помню её руки. Всегда в работе. Они пахли хлебом, молоком, землёй. А иногда – нитками, когда она вязала. Сидела вечерами на кухне, спицы в руках, нитки – серая, синяя, редко красная. Я смотрел, как двигаются руки. Быстро, ровно, будто они знали что-то, чего не знаю я.

– Для тебя, – говорила она, не поднимая глаз. – Ты вырастешь – пригодится.

Я вырастал. Вещи становились малы. Она вязала новые. А старые куда-то исчезали. Наверное, переделывала во что-то ещё. Она ничего не выкидывала. Всё шло в дело.

Я запомнил это. Эту её привычку – ничего не выбрасывать. Ни вещи, ни слова, ни обиды. Всё держать в себе. И молчать.

Она не жаловалась никогда. Я это запомнил крепко. Даже когда было нечего есть, даже когда одна поднимала меня, даже когда приходилось работать за двоих – она не жаловалась. Молчала. Делала. Тянула

Я часто думаю: откуда в ней столько сил? Может, потому что другой жизни не знала. Может, потому что умела любить без условий. Может, просто потому что она мама.

Глава 3. Отец

О нём я знаю немного. Отрывки, которые мама обронила случайно. Или которые я сам собрал из её молчания.

Отец закончил ветеринарный колледж. Раньше он назывался по-другому, но суть та же. Был смышлёным, работающим. Мог бы многое. Но его погубил алкоголь. Или друзья. Или всё вместе. Сейчас не выяснить. Мы не властны над судьбой, которую нам прописали при рождении.

Я почти не помню его. За всю жизнь видел всего пару раз. Нельзя сказать, что он был для меня чужим, но и отцом, который учит сына жизни, он не был. Где-то между. Тень, которая иногда появлялась и исчезала. Я не злился на него. Наверное, просто не успел.

Помню один разговор. Мне было, наверное, лет семь. Он приехал на выходные. Сидел на кухне, пил чай. Я зашёл, сел напротив. Мы молчали. Потом он спросил:

– Как в школе?

– Нормально.

– Не балуешь?

– Нет.

– Ну и правильно.

Он допил чай, встал, вышел. Я остался сидеть. Мы так и не сказали друг другу ничего важного. И больше, кажется, не

говорили. Он скончался в 2017 году, в январские праздники. Остановка сердца. Дома. Один. Когда к нему пришли гости, он уже был мёртв. Печально. О его смерти я узнал в армии. Служил по контракту. Было ли мне жалко его? Скорее да, чем нет. Я не был на похоронах. Это, наверное, неправильно. Пусть он и не воспитывал меня, но дал жизнь. Пусть земля ему будет пухом.

Глава 4. Бабушка Бадар

Её звали Бадар. На казахском это имя, наверное, что-то значит, но я не спрашивал. Я звал её просто бабушкой.

Она ушла на девяносто восьмом году. Долгая жизнь. Я тогда уже был взрослым. Мне было за двадцать. Я служил, потом работал, потом... жизнь закрутила так, что я не успел приехать. Не успел попрощаться. Это осталось во мне. Как незакрытая дверь, которую уже не откроешь.

Я помню тот звонок.

Мама звонила редко. Если звонила – значит, что-то случилось. Я взял трубку, а она молчала. Потом сказала:

– Бабушки больше нет.

Я не плакал. Не мог. Стоял посреди комнаты, сжимал телефон и чувствовал, как внутри что-то обрывается. Не боль – что-то другое. Потеря. Огромная, тяжёлая, как камень, который положили на грудь.

– Она звала тебя, – сказала мама. – Всё время. Перед смертью. Только тебя.

Я молчал.

– Дни и ночи напролёт. Имя твоё называла. И ничьё больше.

Я закрыл глаза. Представил её. Старую, сухую, с глазами, которые видели больше, чем может выдержать человек. Она

лежит на кровати, смотрит в потолок и шепчет. Или громко зовёт. Или просто повторяет, как молитву, моё имя. Снова и снова. Пока не ушла.

– Она знала, что ты не приедешь? – спросила мама.

– Не знаю.

Я не знал тогда. Не знаю сейчас. Может, знала. Она вообще много знала. То, что не положено знать обычному человеку. Может, видела, что я не успею. Может, прощалась так, как умела.

Я не был на похоронах. Причина была – армия, служба, контракт. Но если честно, я и сам не знаю, смог бы я приехать, если бы захотел. Может, боялся. Не смерти – того, что увижу её уже не той. Что она не откроет глаза, не посмотрит на меня своим особым взглядом, не скажет: «Всё правильно».

Я не был на похоронах. Не стоял у могилы. Не простился. И теперь, когда я пишу это, я понимаю: прощание случилось раньше. Когда она называла моё имя. Когда я слышал его в трубке маминого голоса. Когда понял, что её нет. И она всё равно здесь.

Я иногда думаю: почему именно меня? Почему не маму,

не сестру, не кого-то ещё? Я не был рядом. Я не приезжал часто. Я звонил редко. А она звала меня. Дни и ночи. И никого больше. Может, она знала. Может, видела, что мне это будет нужно. Что потом, когда всё рухнет, когда я буду сидеть в пустой комнате и не понимать, как жить дальше, — я вспомню её. Её имя. Её взгляд. Её слова: «Ты особый».

Бабушка была не такой, как другие. Другие бабушки пекли пироги, вязали, смотрели телевизор. Она делала что-то другое. Что-то, чего я не понимал. Шептала слова, которые я не разбирал. Водила руками над водой, над хлебом, надо мной. Иногда зажигала свечи. Иногда молчала и смотрела в одну точку, будто видела что-то, что скрыто от других.

Она была знахаркой. Или чем-то вроде. Я не знаю, как это правильно назвать. В Казахстане таких называют бақсы. В народе — шаманка. Она владела тем, что непонятно науке. Она видела то, что не видим мы. Она могла помочь, когда врачи разводили руками.

Люди приходили к нам в дом. Приносили угощения, платили, чем могли, и просили помочь. Бабушка не отказывала никому. Садилась напротив, смотрела в глаза, слушала. Потом что-то делала. Что именно — я не знаю. Меня в это время отправляли гулять. Но я помню запах — травы, воск, что-то горькое, что-то сладкое. Помню, как после таких вечеров

дом становился тихим, будто выдохнувшим. И бабушка молчала долго, смотрела в окно и не отвечала на вопросы.

Но больше всего я помню, как она помогала мне.

Я плохо спал. Это началось раньше, чем я себя помню. Мама рассказывала: я засыпал тяжело, просыпался часто, плакал без причины. Врачи говорили: «Нервная система, возраст, перерастёт». Бабушка говорила: «Не перерастёт. Научится жить с этим».

Я учился.

Она делала со мной что-то. Укладывала, водила руками, шептала. Я засыпал. Иногда не сразу, но засыпал. И спал спокойнее.

Она говорила, что я «особый». Что со мной надо быть осторожнее. Что меня нельзя пугать, кричать на меня, оставлять одного в темноте.

– Он чувствует больше, чем другие, – говорила она. – Это дар. Или проклятие. Как научиться управлять – дар. А пока

– береги.

Мама берегла. Не кричала, не пугала, не оставляла в темноте. Сидела рядом, пока я не засыпал. Гладила по голове. Шептала.

Я поздно начал говорить. Мама потом рассказывала, что волновалась. Водила к логопедам, к неврологам. Они говорили: «Разовьётся». Бабушка смотрела на меня и молчала. Потом сказала:

– Заговорит, когда будет что сказать. Не торопи.

Я заговорил. Не помню, когда. Но помню, что первые слова были не «мама» и не «папа». Я сказал что-то про свет, который видел. Мама не поняла. Бабушка поняла. Кивнула и сказала: «Всё правильно».

Я помню, как бабушка однажды принесла мне маленький мешочек. Из плотной ткани, завязанный кожаным шнурком. Протянула, посмотрела в глаза.

– Носи с собой. Не теряй. Это защита.

Я не знал, что внутри. Не спрашивал. Просто носил. Под рубашкой, у самого сердца. Мне было спокойнее. Не знаю,

помогало ли это на самом деле или я просто верил, что помогает. Наверное, и то, и другое. Потом, когда она ушла, мешочек потерялся. Или я сам снял, когда понял, что её нет. Не помню. Но что-то осталось. Что-то, что она передала мне. Не в мешочке, не в словах. В том, как смотрела на меня. В том, что видела во мне то, что я сам в себе не видел. В том, что назвала меня «особым» и не объяснила, что это значит – оставила мне самому разбираться.

98 лет. Долгая жизнь. Она многое видела. Многое знала. Она помогала людям, когда врачи не могли. Она видела то, что не видят другие. И когда уходила, звала не тех, кто был рядом всю жизнь. Звала меня.

Я не знаю, есть ли жизнь после смерти. Не знаю, видит ли она сейчас. Но если видит – пусть знает: я помню. Я слышу её голос. Я чувствую её взгляд. Я ношу это в себе. Как тот самый мешочек, который потерял, но который, наверное, и не надо было носить в кармане.

Она была со мной. Она осталась. И когда я не сплю ночами, когда смотрю в потолок и слушаю тишину – я знаю, что это не только моя бессонница. Это что-то, что она передала. Или оставила. Или это просто любовь, которая не уходит даже после смерти.

Глава 5. Отчим

Он пришёл в нашу жизнь не как гром среди ясного неба. Скорее как тихий дождь, который начинается незаметно, а потом ты просыпаешься и понимаешь – всё уже мокрое, всё уже по-другому.

Я не помню точно, когда это случилось. Мне было, наверное, лет шесть или семь. Мама тогда работала, тянула одна, уставала так, что по вечерам просто падала на стул и молчала. Я сидел рядом, смотрел на неё и не знал, чем помочь. Она не жаловалась, никогда, но я видел её руки – красные, опухшие, с потрескавшейся кожей. Видел, как она засыпает за столом. Видел, как смотрит в окно, когда думает, что я не вижу.

А потом появился он.

Я не знаю, где они познакомились. Не знаю, как это было. Мама не рассказывала. Я только помню, что однажды он пришёл к нам в дом. Невысокий, крепкий, сбитый – такие говорят «кряжистый». Руки большие, в мозолях, пахнут железом и машинным маслом. Обычный советский человек. Простой. Рабочий. Такой, каких много.

Я смотрел на него из-за угла. Он стоял посреди кухни, оглядывался, молчал. Потом посмотрел на меня и сказал:

– Здорово, парень.

Я не ответил. Я вообще тогда мало говорил. Он не обиделся. Только кивнул и отвернулся.

Он стал приходить чаще. Сначала раз в неделю, потом чаще. Приносил продукты, помогал по хозяйству, чинил то, что сломалось. Я привык к его шагам в коридоре, к его голосу, который звучал тихо, почти невесомо. Он не пытался заменить мне отца. Не лез с разговорами, не учил жизни. Просто был рядом.

Мама ожила. Я заметил это не сразу. Сначала подумал, что она просто меньше устаёт. Потом увидел, как она улыбается. Не той улыбкой, которая была раньше – уставшей, дежурной, – а другой. Тёплой. Настоящей.

Они не говорили при мне о важном. Я слышал обрывки разговоров из другой комнаты, когда они думали, что я сплю. Тихие голоса, иногда смех. Иногда долгое молчание, которое не было тяжёлым.

Я не ревновал. Наверное, потому что не знал, что такое ревность. Или потому что чувствовал: она заслужила это. Кого-то, кто будет рядом. Кто не уйдёт.

Он так и не стал мне «папой». Я не называл его так. Не мог. Внутри было что-то, что не позволяло произнести это слово. Может, память о том, другом, которого я почти не знал. Может, просто детское упрямство. Но он не настаивал. Он называл меня по имени. И этого было достаточно.

Мы жили в одном доме, но каждый сам по себе. Он работал, я учился, мама крутилась между нами. Мы не были близки. Не говорили по душам, не делились секретами. Но я знал: если что-то случится, он придёт. Если нужна будет помощь – поможет. Если я упаду – поднимет. Не потому что я его сын. А потому что он так решил.

Я помню, как он учил меня держать молоток. Руки у него были короткие, но сильные, с толстыми пальцами, которые, казалось, созданы для того, чтобы держать инструмент. Я смотрел и не мог повторить. Он не злился, не торопил. Просто показывал снова. И снова. Пока я не понял.

– Молодец, – сказал он. – Теперь сам.

Я кивнул. Не сказал спасибо. Не умел тогда.

Он был человеком старой закалки. Работал много, говорил мало. Не жаловался, не просил, не требовал. Иногда я думаю: наверное, он был счастлив. С нами. С мамой. С этой жизнью, которая досталась ему не по выбору, но которую он принял.

Я не знаю, любил ли он меня. Мы никогда об этом не говорили. Но я знаю, что он был рядом. В те дни, когда мне было плохо. В те ночи, когда я не спал. Он не сидел со мной, не гладил по голове – это было мамино. Но я слышал, как он встаёт ночью, идёт на кухню, заваривает чай. Сидит в темноте. Молчит. И я знал: я не один.

Когда я уехал, он не плакал. Не говорил, что будет скучать. Просто сказал:

– Позвони, когда доедешь.

Я позвонил. Он ответил: «Ну и хорошо». И положил трубку.

Я не обиделся. Я уже понимал: это его способ говорить «я люблю тебя». Не словами. Делом.

Потом, когда всё рухнуло, когда я пил в чужой комнате и

не знал, как жить дальше, он звонил. Редко. Коротко. Спрашивал: «Как ты?» Я отвечал: «Нормально». Он молчал. Потом говорил: «Держись». И вешал трубку.

Я не знаю, верил ли он в «нормально». Наверное, нет. Но он не лез, не учил, не спасал. Просто был. На расстоянии. В тишине. Как всегда.

Однажды, уже после армии, после всего, я приехал домой. Мы сидели на кухне. Мама хлопотала у печи, он сидел напротив, смотрел в окно. Я смотрел на него и вдруг понял: он старый. Не тот крепкий мужик, который пришёл в наш дом много лет назад. Постаревший, уставший. Но всё такой же молчаливый.

– Спасибо, – сказал я.

Он повернулся, посмотрел на меня. Удивился, наверное.

– За что?

Я не ответил. Не смог. Слишком много всего было в этом «за что». За то, что был рядом. За то, что не ушёл. За то, что принял меня, хоть я и не называл его отцом.

Он кивнул. Отвернулся. И мы снова замолчали. Но это

молчание было другим. Тёплым. Настоящим.

Я не называю его папой. Не могу. Но когда я пишу эти строки, я думаю о нём. О его руках, коротких и сильных. О его молчании. О том, как он учил меня держать молоток и как потом, через годы, держал меня, когда я падал. Не руками – своим присутствием. Своей верой. Своим молчанием.

Глава 6. Две китайские сумки

Начало нулевых запомнилось мне не датами и не событиями, которые гремели по телевизору. Я запомнил его руками. Мамиными руками. Красными, распухшими, с потрескавшейся кожей, которая пахла молоком, сеном и чем-то кислым – тем особым запахом коровника, который не выветривается, даже когда она часами оттирала их хозяйственным мылом.

Она работала телятницей в колхозе. Не в животноводческом комплексе, не на современной ферме – в колхозе, который доживал свои последние годы так же тяжело, как доживали его работницы. Она уходила затемно, возвращалась, когда уже зажигались уличные фонари, а зимой – когда не было ни света, ни тепла, только синий сумрак за окном и её тихие шаги в прихожей. Этой работе она отдала почти все свои лучшие годы. И здоровье. И силы, которых потом не хватало ни на что другое.

Я был ребёнком, но я помню, как она падала на стул и молчала. Молчала долго, глядя в одну точку, будто внутри неё всё ещё продолжалась какая-то тяжёлая, невидимая работа. Я сидел рядом, боялся спросить, боялся потревожить.

Ждал, когда она выдохнет и скажет: «Всё нормально».

Отчим тогда работал на птицефабрике. Тоже рано, тоже тяжело, тоже за копейки. Мы жили худо-бедно – на еду хватало, но без излишеств. Я не помню, чтобы мы жаловались. Не помню, чтобы взрослые говорили о деньгах при мне. Только иногда, когда они думали, что я сплю, доносились из кухни обрывки фраз: «опять задержали», «сказали, со следующего месяца», «не знаю, что делать».

А потом его сократили. Это слово вошло в наш дом тихо, но тяжело, как осенний туман, который не рассеивается до полудня. Отчим ходил из угла в угол, листал газеты с объявлениями, звонил знакомым. Мама молчала. Я боялся смотреть ей в глаза.

Друзья позвали на вахту в Екатеринбург. Обещали стройку, нормальную зарплату, жильё. Тогда, в начале нулевых, вахта казалась выходом. Спасением. Билетом в другую жизнь, где деньги не задерживают, где работа есть всегда, где можно заработать за месяц столько, сколько здесь за полгода.

Он уехал в конце осени. Я плохо помню проводы. Наверное, мама плакала, когда дверь за ним закрылась. Наверное, он обнял меня и сказал что-то, что полагается говорить отцам. Но память стёрла эти детали. Осталось только чувство

– что он уехал, чтобы вернуться. Вернуться с деньгами. Вернуться победителем.

Потом были недели тишины. Телефон тогда был роскошью, звонили с городских, по карточкам, раз в несколько дней. Мама ждала звонков. Я видел, как она смотрит на телефон, как подходит, когда он молчит, и трогает трубку, будто проверяет, не отключили ли.

Он звонил. Коротко. Говорил, что всё нормально, что работа есть, что скоро приедут расчёты. Мама кивала, хотя он не видел. Передавала привет. Спрашивала, тепло ли одет.

А потом звонки стали реже. Потом наступила тишина. Долгая, тяжёлая, та самая, после которой мама уже не смотрела на телефон. Она сидела на кухне, вязала, смотрела в окно. Я не спрашивал. Я уже научился не спрашивать.

Он рассказал эту историю позже. Спустя годы. Мы сидели на кухне, пили чай, и я спросил о тех временах. Он говорил тихо, спокойно, без надрыва. Как будто рассказывал не о себе.

– Приехали мы туда, – сказал он, глядя в кружку. – А там... ничего. Стройка, которую нам обещали, оказалась липой. Нас кинули. Месяц вхолостую отпахали. За так.

Он помолчал. Я ждал.

— Друзья говорят: «Поехали домой». А я как поеду? — он поднял глаза. — У меня там ребёнок, жена. Сидят, ждут. Думают, я привезу деньги. А я что привезу? Пустые руки? Не мог я так.

Он остался. И друзья остались с ним. Не бросили.

Они пошли по шабашкам. Теперь я понимаю, что это значило. В чужом городе, без денег, без жилья, без гарантий. Любая работа — разгрузка вагонов, уборка стройплощадок, подсобные работы на чужих объектах. Спали там же, где работали. На досках, на голом бетоне, в бытовках, которые не отапливались. Ели что дадут. Работали с утра до ночи, чтобы через две недели получить расчёт и не быть выброшенными на улицу.

Две недели. Четырнадцать дней, которые он потом не расписывал подробно. Я не спрашивал. Я уже знал, что тяжёлое не рассказывают — его просто проживают. Главное — они заработали. Приличную сумму, как он сказал.

Он поехал на рынок. Тогда рынки были другими — огромными, шумными, полными людей, которые продавали всё,

что можно было привезти из-за границы или достать со складов. Он ходил между рядов, выбирал. Думал о нас.

Две большие китайские сумки. Их тогда называли «баулами». Яркие, пёстрые, с блестящими молниями и ручками, которые резали ладони, если нести долго. Он сложил туда всё, что казалось ему нужным. Вещи для мамы. Для меня. Что-то из одежды, что-то из дома. Не спрашивал, не советовался – выбирал сам, как умел, как чувствовал.

Он приехал под вечер. Я не помню, как открылась дверь. Помню только эти сумки. Они стояли посреди комнаты, большие, чужие, пахнувшие новым пластиком и дальними дорогами. Отчим стоял рядом. Похудевший, почерневший, с руками, покрытыми ссадинами и цементной пылью, которая, казалось, въелась в кожу навсегда.

Мама подошла, остановилась, посмотрела на него. Потом на сумки. Потом снова на него.

– Ну вот, – сказал он. – Привёз.

Она заплакала. Я не помню точно, но чувствую, что заплакала. Не от подарков – от того, что он вернулся. Что привёз не пустые руки. Что не сломался.

Я стоял в стороне, смотрел на эти сумки и не понимал, почему они такие большие и почему мама плачет. Потом она развязала одну, достала вещи, стала прикладывать ко мне, приговаривая: «Примерь, примерь». Я не хотел мерить. Я хотел, чтобы она перестала плакать.

Он рассказывал эту историю только раз. Мы сидели на кухне, за окном темнело, чай давно остыл. Он говорил тихо, спокойно, как слушают последнее напутствие.

– Я не мог вернуться с пустыми руками, – сказал он. – Понимаешь? Не мог.

Я кивнул.

Сейчас, когда я вспоминаю этот разговор, я понимаю: он говорил не о деньгах. Не о вещах. Он говорил о том, что значит быть мужчиной, когда за твоей спиной те, кто ждёт. О том, что нельзя прийти с пустыми руками, даже если руки стёрты в кровь. О том, что две китайские сумки, купленные на шабашные деньги, – это не просто баулы с одеждой. Это ответ. Тем, кто сказал: «Ничего не выйдет». Тем, кто ждал. И себе самому.

Он не был моим отцом по крови. Но он был тем, кто не вернулся с пустыми руками. Тем, кто спал на бетоне, работал

за еду, чтобы через две недели купить нам эти сумки. Он никогда не говорил, что любит нас. Но эти сумки – они были громче любых слов.

Глава 7. Мамины руки

Наша деревня была маленькой. Дома лепились друг к другу, огороды уходили в поля, а за полями начинался лес. Ферма стояла на отшибе, но от нашего дома до неё было рукой подать – через огород, мимо колодца, вдоль заросшего бурьяном проулка. Я знал эту дорогу с закрытыми глазами. Летом – по запаху разогретой земли и коровьего навоза, зимой – по скрипу снега под ногами, который становился громче, чем ближе подходишь к бетонным стенам телятника.

Мама вставала в четыре утра. Я просыпался от того, как скрипела дверь, как она нашаривала в темноте телогрейку, как надевала валенки. Она старалась не шуметь, но каждый звук в ночной тишине казался оглушительным. Я лежал, смотрел в потолок и слушал, как она выходит, как щёлкает замок, как её шаги затихают за окном. Потом я снова проваливался в сон – ненадолго, до того момента, когда начнёт светать.

Она возвращалась в семь. Я слышал её шаги ещё на улице, потом скрип калитки, потом тяжёлый вздох, когда она снимала валенки в сенях. Она входила на кухню, ставила ведро, будила меня, если я ещё спал, или тихо окликала: «Вставай,

завтрак готов».

Я выходил – сонный, ещё не верящий, что день уже начался. Она стояла у печи, разливала суп или кашу, нарезала хлеб. Её руки – красные, распухшие, с потрескавшимися ногтями – двигались быстро, привычно, будто сами знали, что делать. Я смотрел на них и не замечал, как они устали. Мне казалось, они всегда были такими.

Если отчим был на вахте, она сама собирала меня в сад. Помню, как она одевала меня: сначала штаны, потом свитер, потом куртку. Застёгивала пуговицы, поправляла воротник, приглаживала волосы ладонью. Потом брала за руку, и мы шли. По той же дороге, мимо фермы, вдоль забора, до садика, который стоял на пригорке. Она никогда не шла быстро, но я едва поспевал за ней. Я думал тогда, что она торопится. Теперь я понимаю: она просто уставала так, что не могла идти медленнее.

У ворот сада она останавливалась, смотрела на меня, поправляла шапку.

– Веди себя хорошо, – говорила она.

Я кивал. Она разворачивалась и уходила. Я смотрел ей вслед, на её спину, согнутую под тяжестью невидимого груза.

Она не оглядывалась.

Если отчим был дома, всё было иначе. Он тоже вставал рано – правда, не в четыре, а чуть позже. Когда мама возвращалась с фермы, он уже управлялся по хозяйству: приносил дрова, носил воду, кормил скотину, если она у нас была. Я слышал их голоса на кухне – тихие, деловитые, без лишних слов.

– Успел? – спрашивала она.

– Успел, – отвечал он.

Потом он собирал меня в сад. Делал это по-другому – быстрее, без лишних движений. Не приглаживал волосы, не поправлял воротник. Просто натягивал куртку, брал за руку и выводил на улицу.

– Мам, мы пошли, – бросал он через плечо.

Она кивала. Я оглядывался, пока мы шли к калитке. Она стояла в дверях, вытирала руки о фартук и смотрела нам вслед. До тех пор, пока мы не сворачивали за угол. Я не знаю, почему она не оглядывалась, когда провожала одна, но смотрела вслед, когда он был рядом. Может, потому что знала: он приведёт меня обратно. А одна – она должна была привести

сама.

Я редко задумывался о том, как она живёт. Мне казалось, что так – нормально. Что все мамы встают в четыре, работают на ферме, приходят в семь, собирают детей в сад. Что все руки такие – красные, в трещинах, пахнущие хозяйственным мылом. Что все женщины в деревне живут так.

Теперь я знаю, что нет. Теперь я знаю, что она отдала этой работе не только годы, но и что-то ещё. То, что нельзя вернуть. То, что она не называла вслух. Может, здоровье. Может, покой. Может, ту жизнь, которую она могла бы прожить, если бы не вставала каждый день в четыре утра, не шла в телятник, не мыла руки хозяйственным мылом, не провожала меня в сад, чтобы потом снова вернуться на ферму.

Но я не слышал от неё ни одной жалобы. Никогда. Даже когда отчим уезжал на вахту, и она оставалась одна, с работой, с домом, со мной. Даже когда падала на стул вечером и долго смотрела в одну точку. Даже когда её руки начинали болеть так, что она не могла сжать их в кулак.

Она молчала. Как умела. Как учила меня.

Глава 8. Телефон

В доме телефона не было. Вообще. Не то чтобы роскошь – необходимость, которую не могли потянуть. Или могли, но было что-то важнее. Мама говорила: «Обойдёмся». Отчим молчал. Я не спрашивал. Я привык, что связь с миром – это письма, которые приходят раз в месяц, и редкие звонки с сельского почтамта, когда кто-то из родственников добирался до города.

Когда отчим уехал в Екатеринбург, телефон стал чем-то вроде иконы. Мама ждала звонка. Не говорила об этом, но я видел. По тому, как она прибиралась на кухне перед вечером, как заваривала свежий чай, как садилась ближе к окну, откуда был виден переулок, ведущий к почтамту. Она не ждала, что позвонят домой – домой позвонить было некуда. Она ждала, что кто-то из соседей зайдёт и скажет: «Вам звонили. Передайте, что всё хорошо».

Звонили редко. Раз в неделю, если повезёт. Голос в трубке был далёким, с помехами, и слова обрывались, будто их перехватывало что-то между Екатеринбургом и нашей деревней. Мама слушала, кивала, хотя он не видел. Потом говорила коротко: «У нас всё нормально. Ты береги себя». Кла-

ла трубку и долго смотрела на телефон, будто ждала, что он зазвонит снова.

Я не понимал тогда, почему она не говорит больше. Почему не спрашивает, как он, что ест, где спит, когда вернётся. Теперь понимаю: она боялась, что если начнёт говорить, то не сможет остановиться. А плакать в трубку, когда до него сотни километров, нельзя. Потому что он не приедет, не обнимет, не скажет, что всё будет хорошо. Он просто услышит её слёзы и не сможет ничего сделать.

Я помню, как однажды мы шли по улице, и я увидел мужчину с телефоном. Это было ещё до того, как сотовые стали обычным делом. Он стоял у забора, говорил громко, жестикулировал, смеялся. Я остановился, смотрел. Мне казалось, что он говорит с кем-то невидимым, с тем, кто находится где-то далеко, но при этом – прямо здесь, в трубке.

– Мам, а у нас будет телефон? – спросил я.

Она посмотрела на меня, потом на того мужчину, потом снова на меня.

– Будет, – сказала она. – Когда-нибудь.

Я поверил. Не потому, что она сказала – потому что она

так посмотрела. Как будто знала что-то, чего не знаю я. Как будто уже видела этот телефон в нашем доме.

Потом, когда отчим вернулся с теми двумя сумками, в одной из них, среди вещей, лежал мобильник. Не новый, не дорогой – с потёртым корпусом, с маленьким экраном, на котором едва помещались буквы. Он протянул его маме.

– Вот, – сказал. – Теперь звонить буду. Не ждать.

Мама взяла телефон, повертела в руках, поднесла к уху. Потом положила на стол и долго смотрела на него.

– Дорого, наверное, – сказала она.

– Не важно, – ответил он.

Она не спорила. Просто кивнула. И я понял, что этот телефон – не про деньги. Он про то, чтобы она не ждала у окна. Про то, чтобы я не спрашивал, когда он вернётся. Про то, чтобы мы знали: он рядом. Даже когда за сотни километров.

Я помню первый раз, когда он позвонил на этот телефон. Мы сидели на кухне, мама готовила ужин. Телефон зазвонил резко, громко, незнакомо. Я вздрогнул. Мама вытерла руки, взяла трубку, поднесла к уху.

– Алло, – сказала она тихо.

И замолчала. Я смотрел на её лицо. Оно менялось. Сначала удивление, потом что-то другое, что я не мог прочесть, потом улыбка. Не та, уставшая, дежурная – настоящая.

– Всё хорошо, – сказала она в трубку. – Мы тут... да, нормально.

Она слушала долго. Кивала. Потом сказала:

– Я передам. Он тут, рядом.

Она протянула мне трубку. Я взял, поднёс к уху. В ней шумело, трещало, а сквозь шум – голос. Далёкий, чужой, но знакомый.

– Здорово, парень, – сказал он.

Я не ответил. Не мог. В горле стоял ком. Я слышал его голос, представлял его лицо, его руки, его молчание, которое вдруг стало голосом.

– Ты там как? – спросил он.

– Нормально, – сказал я. – А ты?

– Нормально, – ответил он.

Мы замолчали. Потом он сказал:

– Слушай маму. Хорошо?

– Хорошо.

– Ну, давай.

Он отключился. Я стоял с трубкой, слушал короткие гудки, не мог положить. Мама забрала телефон, посмотрела на меня, ничего не сказала. Потом убрала в ящик стола, достала посуду, накрыла на стол.

– Ужин готов, – сказала она. – Садись.

Мы ели молча. Я думал о том голосе. О том, как он сказал: «Слушай маму». О том, как мама улыбнулась, когда услышала его. О том, что этот телефон, который лежал теперь в ящике стола, сделал так, что он стал ближе. Не на сотни километров. А на расстоянии вытянутой руки.

Глава 9. Школа

Школа находилась в центре села. Одноэтажное здание из белого кирпича стояло на пригорке, окружённое старыми тополями, которые шумели даже в безветренную погоду. Вокруг неё – вся жизнь: магазин, сельсовет, автобусная остановка, скамейки, где бабушки судачили по вечерам. В школу шли через весь центр, мимо домов с палисадниками, мимо колодца, мимо вывески «Сельпо», выцветшей на солнце. Я знал эту дорогу с закрытыми глазами.

В садик я ходил с трёх лет. Помню запах манной каши, железные кровати с бортиками, тихий час, когда все лежали с открытыми глазами и ждали, когда можно будет встать. Потом наш садик закрыли – сказали, нет денег, детей мало, переводим в соседнее село. Мама возила меня туда, потом забирала. Я привык. А перед самой школой в нашей деревне открыли новый садик. Оттуда я и пошёл в первый класс.

Первое сентября запомнилось цветами, линейкой, белыми бантами одноклассниц. Я стоял с букетом астр, которые мама срезала накануне, и смотрел, как другие дети смеются, общаются, держатся за руки. Я стоял отдельно. Не потому что меня не звали – просто я не умел присоединяться. При-

вык быть один. Привык к тишине.

Учительница была молодой, с добрым лицом. Я сел за третью парту у окна. И с первых дней началось то, что потом назовут «проблемами».

Я не мог сидеть смирно. Не мог слушать, когда надо слушать. Смотрел в окно, рисовал на полях, задумывался о чём-то, что было важнее, чем буквы и цифры. Когда меня спрашивали, я молчал. Не потому что не знал ответа – просто не успевал собраться. Мысль кружилась где-то внутри, никак не могла вылететь наружу.

Учительница делала замечания. Потом начала оставлять после уроков. Потом вызвала маму.

Я сидел в коридоре на деревянной скамейке, смотрел на закрытую дверь класса, слушал голоса. Мама говорила тихо, учительница – громче. Слова долетали обрывками: «невнимательный», «не успевает», «отвлекается», «может, ему нужна специальная программа». Я не понимал, что значит «специальная». Думал, просто другой класс. Другую школу. Я не знал, что есть школы, куда отправляют тех, кто не такой, как все.

Мама вышла бледная. Взяла меня за руку, повела домой.

Молчала. Я тоже молчал. Только когда мы зашли в дом, она села на табуретку, посмотрела на меня долгим взглядом и сказала:

– Никуда они тебя не отправят. Я не позволю.

Через несколько дней меня повезли в соседнее село. Там была средняя школа – большая, двухэтажная, с широкой лестницей и высокими потолками. Комиссия сидела в кабинете на втором этаже. Мама сказала – просто посмотрят, как я занимаюсь, зададут вопросы, и всё. Я сидел в машине, смотрел в окно, считал столбы. Она держала меня за руку. Крепко. Я чувствовал, как её пальцы сжимаются, когда мы подъезжали к школе.

Кабинет был светлым, пахло бумагой и мелом. За столом сидели несколько человек – женщины в очках, строгие, с блокнотами. Мама осталась в коридоре.

– Садись, – сказала одна из них. – Посмотрим, что ты умеешь.

Они давали мне картинки, фигуры, задачки. Нужно было найти лишнее, продолжать ряд, сложить буквы в слова. Я делал всё молча, быстро, не поднимая глаз. Я не знал, что от меня хотят. Я просто делал. Когда спрашивали – отвечал.

Коротко. По делу. Не больше, чем нужно.

Женщины переглядывались, что-то записывали. Одна из них спросила:

– Почему ты не отвечаешь на уроках?

Я пожал плечами.

– Не успеваю.

– А когда успеваешь – отвечаешь?

Я подумал.

– Когда не смотрю в окно.

Она улыбнулась. Я не понял, чему.

Когда мы закончили, они долго смотрели в свои бумаги. Потом та, что задавала вопросы, сказала:

– Справляется. Обычная школа.

Мама ждала в коридоре. Когда я вышел, она посмотрела на меня, потом на женщину. Та кивнула. Мама выдохнула. Я

впервые видел, как она выдыхает так, будто держала воздух в себе долгие дни.

Мы ехали обратно. Я смотрел в окно, мама смотрела на меня. Потом обняла. Не за что-то, просто так. Я не понимал тогда, что она пережила. Не знал, что значит для матери услышать: «Ваш ребёнок не такой, ему нужно другое». Не знал, сколько сил стоило ей сидеть в коридоре и ждать, пока я отвечаю на вопросы в том кабинете.

Я остался в нашей школе. В центре села. В одноэтажном здании из белого кирпича, где пахло мелом и деревом, где по утрам собирались дети, а по вечерам расходились по домам. Я учился по-своему: где-то отлично, где-то едва тянул. Но меня не отправили. И я благодарен маме. Не за то, что она добилась — я тогда не понимал, что она добивалась. А за то, что не позволила назвать меня «не таким». За то, что верила. За то, что держала за руку, когда везла на проверку. За то, что выдохнула, когда всё закончилось.

Я смотрю в окно до сих пор. Но теперь я знаю: это не значит, что я не слушаю. Просто я вижу что-то, чего не видят другие. И мама это знала. Всегда.

Глава 10. Бабушка Магрипа

Мамина семья жила в Казахстане. Я знал это с детства, но как-то отвлечённо, как знаешь, что где-то есть море или горы – далеко, не скоро доедешь, и не факт, что вообще когда-нибудь увидишь. Казахстан был для меня не страной, а маминым голосом, когда она говорила по телефону с сёстрами. Незнакомые слова, быстрая речь, смех, которого я не понимал. Она становилась другой. Громче, свободнее, моложе. Я слушал из другой комнаты и не узнавал её.

Мы ездили туда редко. Дорога была долгой, билеты дорогими, отпуск коротким. Но иногда, раз в несколько лет, мама собирала сумки, брала меня за руку, и мы уезжали. Поезд, потом автобус, потом попутка, потом пешком. Я запомнил эту дорогу как одно долгое, тягучее путешествие, в котором время текло иначе – медленно, вязко, как смола.

Дом, где жила бабушка, стоял на краю аула. Глинобитный, с плоской крышей, с высоким забором, за которым копошились куры и блеяли овцы. Внутри было темно и прохладно, пахло сушёными травами, старым деревом и чем-то неуловимым, что я теперь называю «домом». Бабушка встречала нас у ворот – маленькая, сухая, с морщинистым лицом и гла-

зами, которые видели больше, чем положено. Её звали Магрипа.

Она обнимала маму, потом смотрела на меня, гладила по голове и говорила что-то по-казахски. Я не понимал слов, но понимал: она рада. И ещё что-то. Что-то, что я не мог назвать тогда. Теперь я знаю: она проверяла. Смотрела, как я вырос, как дышу, как стою. Она всегда видела больше, чем другие.

Бабушка Магрипа жива до сих пор. Я пишу эти строки, и она где-то там, в Казахстане, в своём доме на краю аула. Звоним редко – не потому что не хотим, а потому что расстояние не становится меньше, а время быстрее. Но когда я звоню, она берёт трубку. И я слышу её голос – спокойный, твёрдый, такой же, каким он был в моём детстве.

Она не путает имена, не теряет нить разговора. Она помнит всё. Моё детство, свои истории, тех, кто ушёл, и тех, кто остался. Она спрашивает про дела, про здоровье, про то, как я живу. Говорит недолго, по делу. А в конце всегда одно и то же: «Балам, живи. Хорошо живи. И маму береги».

Я отвечаю: «Хорошо, бабушка». Она молчит секунду, потом кладёт трубку. Я знаю, что она улыбнулась. Я чувствую это даже на расстоянии.

В доме у бабушки Магрипы всегда было много людей. Сёстры мамы, их мужья, дети, соседи, кто-то ещё, кого я не запоминал. Они говорили громко, перебивали друг друга, смеялись, спорили. Я сидел в углу и смотрел. Мне было интересно, но я не знал, как к ним присоединиться. Я был городским, чужим, тихим. Они чувствовали это и не трогали. Только иногда кто-то из тёток подходил, садился рядом, спрашивал: «Ну как ты?» Я отвечал: «Нормально». Она кивала, гладила по голове и уходила.

Мама среди них была другой. Не младшей и не старшей – где-то посередине. Но я видел, как она меняется здесь. Как распрямляются её плечи, как светлеет лицо, как она начинает говорить быстрее, громче, как будто сбрасывает тяжесть, которую носила дома. Я понимал: здесь её понимают. Здесь не надо объяснять. Здесь она своя.

Бабушка Магрипа почти не говорила со мной. Она смотрела. Долго, пристально. Я чувствовал её взгляд и не знал, что он значит. Потом она брала меня за руку, вела в дальнюю комнату, доставала из сундука что-то – сладости, старую игрушку, платок, который, наверное, хранила для меня. Я брал, говорил спасибо. Она кивала и уходила.

Я запомнил один вечер. Мы сидели во дворе, взрослые пили чай, дети играли в стороне. Солнце садилось, воздух

становился прохладным, пахло дымом и полыньёю. Бабушка сидела рядом со мной, молчала. Потом вдруг заговорила. По-русски. Медленно, с акцентом, подбирая слова.

– Ты особый, – сказала она. – Не такой, как другие.

Я не знал, что ответить. Она помолчала.

– Это хорошо. Плохо – когда как все.

Я смотрел на её руки, лежащие на коленях. Сухие, с выпуклыми венами, с ногтями, пожелтевшими от времени. Она чувствовала мой взгляд.

– Мама твоя такая же. Молчит, терпит, не просит. Это от меня. – она усмехнулась. – Плохое передала. Хорошее – сама нажила.

Мы уезжали рано утром. Бабушка стояла у ворот, мама обнимала её, плакала. Я стоял рядом, смотрел на их лица, такие похожие и такие разные. Потом бабушка поворачивалась ко мне, гладила по голове, что-то шептала. Я не понимал слов, но знал: это благословение. Или напутствие. Или просто любовь, которую нельзя передать иначе.

Глава 11. Друзья

В деревне друзья появлялись сами собой. Не потому что я умел знакомиться – я не умел. Просто мы жили рядом, ходили в одну школу, играли в одних и тех же местах. Двор, пустырь за школой, старый мост через канаву, лес за полем. Детство в деревне – это не когда тебя водят на кружки и секции, а когда ты выходишь утром и уже знаешь, кто сегодня будет на улице.

Денис, Олег, Саня, Рома. Мы были одной компанией. Не самой большой, не самой шумной, но своей. Денис был старше нас всех на год, но ходил с нами в один класс – оставили, говорили, по глупости. Он был спокойным, рассудительным, с ним всегда было надёжно. Олег – наоборот, вечно что-то придумывал, загорался идеей, тащил нас туда, куда другие боялись сунуться. Саня был тихим, как я, но по-другому. Он молчал, потому что выбирал слова. Когда говорил – все слушали. Рома был самым младшим, весёлым, непоседливым, вечно попадал в истории, из которых его потом вытаскивали.

Мы были разными. Но мы были вместе.

Я запомнил одно лето. Жара стояла такая, что асфальт

плавился, а трава на пустыре выгорела до желтизны. Мы собирались на старом мосту через канаву. Мост был деревянный, с прогнившими досками и перилами, которые качались, если на них опереться. Взрослые говорили, что туда ходить опасно. Мы ходили. Потому что там, под мостом, было прохладно, пахло сыростью и тиной, и никто нас не видел.

Мы сидели на досках, болтали ногами над водой, смотрели, как стрекозы мелькают над канавой. Денис рассказывал про старших ребят, которые уехали в город, работают, приезжают на выходные с подарками. Олег предлагал построить плот и сплавиться до самой реки. Саня молчал, улыбался, кивал. Рома кидал камешки в воду, считал круги.

– А ты бы хотел уехать? – спросил меня Денис.

Я задумался. Уехать – это значит бросить этот мост, эту канаву, этот пустырь, эти вечера, когда мы сидим и молчим. Не знаю, хотел ли я.

– Наверное, – сказал я. – Когда вырасту.

Он кивнул. Не спросил почему. Он понимал.

Мы часто ходили в лес. Не в тот, где грибы собирают, а дальше, за поле, где начинались настоящие заросли, где было

темно даже днём, где, как говорили, водятся змеи и бродят какие-то люди, которых лучше не встречать. Мы ходили туда не потому что искали приключений – просто там было наше место. Недалеко от опушки стояла старая сосна, поваленная ветром, с корнями, торчащими вверх, как чьи-то скрюченные пальцы. Мы называли её «наша сосна». Сидели на ней, болтали, смотрели, как солнце пробивается сквозь ветки.

Однажды Саня принёс с собой старый плеер, который ему отдали старшие. Мы слушали музыку – что-то из того, что крутили по телевизору, песни, которые тогда казались самыми важными в мире. Сидели, молчали, слушали. Потом Олег сказал:

– Вот бы нам свою группу собрать.

Денис усмехнулся:

– На чём играть-то?

– На чём-нибудь, – ответил Олег. – Найдутся.

Они посмотрели на меня. Я играть не умел. Но почему-то смотрели на меня.

– Научишься, – сказал Саня. Не спросил – сказал.

Я не ответил. Но запомнил. Может, с того разговора всё и началось.

Зимой мы катались с горки. Она была за школой, крутая, длинная, с трамплином в конце. Мы приезжали туда с санками, ледянками, кто на чём. Денис придумал трассу с поворотами, Олег всегда пытался пролететь дальше всех, Рома визжал, когда санки разворачивало. Я сидел наверху, смотрел вниз, ждал. Не страха – чего-то другого. Того момента, когда можно просто скатиться и ничего не бояться. Потом я летел вниз, ветер свистел в ушах, снег бил в лицо, и всё исчезало. Только скорость. Только я. Только этот миг.

Вечером мы расходились по домам. Денис уходил первым – у него были дела, он помогал по хозяйству. Олег и Саня шли вместе, Рома бежал впереди, обгоняя всех. Я возвращался один. Не потому что меня не звали – я сам выбирал. Шёл медленно, смотрел на звёзды, на окна домов, где горел свет, на дым из труб, который тянулся вверх и таял в темноте. Думал о том, какой большой мир, и как здорово, что я здесь. И что есть они. Завтра мы снова встретимся. У моста, у сосны, на горке. Будем молчать, смеяться, спорить, слушать музыку. Будем вместе.

Потом жизнь развела нас. Кто-то уехал, кто-то остался.

Денис в город подался, Олег перебрался в район, Саня осел в деревне, Рома уехал на север. Но мы не потерялись. Не стали чужими. Время от времени списываемся, созваниваемся. Редко – у всех свои заботы, свои дороги. Но когда слышу знакомый голос в трубке, когда прилетает сообщение с вопросом «как ты?», я знаю: они там. На том мосту, у той сосны, на той горке. Такие же, как тогда. Молодые, живые, настоящие.

Глава 12. Сестра

27 апреля 2007 года.

Я не помню этого дня. Мне было одиннадцать, но память сохранила не сам день, а ощущение, которое пришло после. Отчим был дома, мама уехала в роддом, он ждал звонка. Когда позвонили, он сказал: «У тебя сестра». Я кивнул. Не знал, что с этим делать.

Через несколько дней маму привезли домой. Я помню, как она вошла, уставшая, счастливая, с маленьким свёртком на руках. Я стоял в коридоре, смотрел, не решаясь подойти. Она позвала: «Иди сюда». Я подошёл. Она откинула край одеяла, и я увидел её. Маленькую, красную, сморщенную, с закрытыми глазами и крошечными кулачками, сжатыми так, будто она уже готовилась к жизни.

– Это твоя сестра, – сказала мама.

Я запомнил не имя. Я запомнил, что она маленькая. И что теперь она будет жить с нами. В моей комнате. В моей жизни.

С первого дня я включился. Не потому что меня просили

— я сам хотел. Мама и отчим работали, времени на всё не хватало. Я видел, как они устают, и решил: я могу помочь. Так и началось.

Я менял подгузники. Сначала боялся, неловко, пелёнки не слушались. Но быстро научился. Потом подмывал, укладывал спать, кормил из бутылочки. Гулял с коляской по улицам деревни, соседки оглядывались, улыбались: «Молодой отец растёт». Я не обижался. Я знал: это моя сестра, и я за неё отвечаю.

Она росла. Я учился понимать её плач: голодный, мокрый, устал, просто капризничает. Привык к её запаху, к её весу на руках, к тому, как она засыпала у меня на плече, когда я носил её по комнате. Это стало частью меня. Наверное, тогда, в эти годы, во мне что-то сформировалось. То, что потом назовут ответственностью. Или просто любовью.

Когда она начала ходить, я стал за ней следить. Она лезла везде, хватала всё, что плохо лежит, падала, плакала, снова лезла. Я таскал её за собой, показывал ей свои игрушки, пытался объяснить, как что работает. Она не понимала, конечно. Но слушала. Сидела на полу, смотрела на меня и слушала.

Потом она начала говорить. Первые слова были «мама» и

«папа». Потом – моё имя. Я тогда подумал: это, наверное, важно. Быть тем, чьё имя произносят вторым.

Я учил её читать, писать, считать. Не потому что меня просили – я сам хотел. Мне казалось, что это моя обязанность. Быть старшим, помогать, объяснять. Она слушала, кивала, иногда спорила. Упрямая была. Как мама.

Мы делили комнату, игрушки, внимание. Ссорились, конечно. Из-за всего: кто сидит за столом с этой стороны, чья очередь мыть посуду, кто смотрит телевизор. Я злился, она плакала, мама разнимала. Потом мы мирились. Я не помню, как это происходило. Просто в какой-то момент обида проходила, и мы снова были вместе.

Но я помню другое. Как учил её кататься на велосипеде, бежал рядом, поддерживал за руль, пока она не поверила, что может сама. Как водил с собой на футбол – она сидела на трибуне, маленькая, с косичками, смотрела, как я гоняю мяч, и потом говорила: «Ты сегодня забил?» Я врал, что забил. Она верила.

А ещё я учил её сочинять стихи. Мы садились вечером на кухне, я говорил: «Придумай рифму». Она морщила лоб, подбирала слова. Получалось смешно, неуклюже, но я хвалил. Ей нравилось. Может, оттуда потом пришла любовь к

языку, к слову. Не знаю. Но я чувствовал: это важно.

Я учил её жизни. Сам ещё был мал, но уже знал кое-что. Что не все обещания сбываются. Что не все люди остаются. Что если больно – можно молчать, но лучше сказать. Что маму надо беречь. Что отчим – хороший, даже когда строгий. Что я рядом, даже когда уезжаю.

Она слушала. Я не знаю, запомнила ли. Наверное, что-то осталось.

В 2015 году я ушёл в армию. Мне было девятнадцать, ей – восемь. Я помню, как прощался. Она стояла в дверях, смотрела на меня, не плакала. Я обнял её, сказал: «Слушай маму». Она кивнула. Я ушёл.

Мы созванивались. Она рассказывала про школу, про подруг, про то, что мама опять не высыпается. Я слушал. Иногда давал советы, иногда просто молчал. Она говорила: «Ты там как?» Я отвечал: «Нормально». Она говорила: «Приезжай». Я говорил: «Скоро».

Сейчас она заканчивает финансовый колледж. Взрослая, серьёзная, с планами на будущее. Я смотрю на неё и не узнаю ту маленькую девочку, которую носил на руках. Но что-то осталось. Та же упрямая складка губ. Тот же смех, когда я

говорю что-то смешное. Та же вера в то, что я смогу объяснить, если что-то не так.

Мы общаемся. Не так часто, как хотелось бы, но регулярно. Звоним, списываемся, делимся новостями. Она иногда спрашивает про мои книги, про музыку. Я спрашиваю про её учёбу, про дела. Мы не говорим о важном – мы просто говорим. И этого достаточно.

Я не был идеальным старшим братом. Злился, когда надо было терпеть. Уходил, когда надо было оставаться. Молчал, когда надо было говорить. Но я любил её. Всегда. Не словами – делом. Не обещаниями – тем, что был рядом. Не всегда, но когда мог.

Глава 13. Медицинский

После школы мне нужно было куда-то поступать. Куда — я не знал. Внутри не было чёткого понимания, кем хочу быть. В голове — пустота, какая бывает после последнего звонка, когда все уже решили свои судьбы, а ты всё ещё стоишь на перекрёстке и не видишь указателей.

Одноклассники разлетались: кто в политех, кто на экономический, кто в армию. Учителя советовали, родители давили, а я сидел на кухне и смотрел в окно. Как в детстве. Всё та же привычка — искать ответы там, где их нет.

Мама сказала: «Иди в медицинский, работа всегда будет». Она не настаивала громко — она просто знала, что так надёжнее. Её голос был спокойным, будто она уже всё за меня решила и теперь просто ставила меня перед фактом. Отчим молчал, но я видел, как он кивает, когда мама говорит. Для них медицинский — это гарантия. Не призвание, а страховка. Чтобы сын не пропал, чтобы была профессия, чтобы было за что зацепиться в этой жизни.

Я послушал. Не потому что хотел — потому что боялся их разочаровать. Подал документы в медицинский колледж. Прошёл по конкурсу — легко, без нервов. Экзамены сдал, как автомат. И даже не обрадовался.

Первый курс. Ощущение чужого и первые песни

Первого сентября я стоял в толпе таких же, как я, и смотрел на здание колледжа. Старая советская постройка, запах хлорки и дешёвого линолеума. Внутри — длинные коридоры, таблички «Кафедра анатомии», «Операционный блок (учебный)», «Лаборатория». Везде белые халаты. Я надел свой — и сразу почувствовал себя чужим.

Халат был мне великоват. Не в плечах — в душе.

Первые лекции: анатомия, латынь, основы сестринского дела. Преподаватели — бывшие врачи, уставшие, с жёсткими голосами и колючими взглядами. Они требовали зубрёжки, дисциплины, беспрекословного подчинения. «Забудьте про гуманитарии, — говорила заведующая на первой же лекции. — Здесь вы учитесь спасать жизни. Ошибки не прощаются».

Я сидел на задней парте и смотрел в окно. Как в школе. Всё та же картинка: голубое небо, ветки деревьев, облака, которым плевать на анатомию. Я думал: «Что я здесь делаю?»

Однокурсники горели. Они записывали каждое слово, спорили о диагнозах, задерживались после пар, чтобышний раз потренироваться на муляжах. А я просто отсиживал.

Присутствовал. Отбывал номер.

Но именно на первом курсе случилось то, что стало моим спасением. Я начал писать. Сначала просто мысли в тетрадку — обрывки, которые не вылезали из головы. Потом добавились стихи. Косые, неуклюжие, с детскими рифмами, но они были моими. Я никому их не показывал, прятал в ящик стола под стопкой учебников по анатомии. Латынь и стихи соседствовали в одной сумке. Это было странно, но именно так я выживал в этом чужом мире.

Позже, когда я купил самую дешёвую гитару (на стипендию, с рук у второкурсника), слова сами легли на аккорды. Первые песни были кривыми, фальшивыми, но в них была правда — та, которую я не мог сказать вслух. Я играл по ночам, когда сосед по общежитию засыпал. Сидел на подоконнике, смотрел на огни города и перебирал струны. В этих песнях не было медицины. Было что-то другое. То, ради чего, может быть, стоило просыпаться.

Второй курс. Практика и Ася

Ко второму курсу я научился делать уколы на муляжах, ставить капельницы, измерять давление. Знал латынь назубок: *foramen, processus, tuberculum* — эти слова вылетали из меня автоматной очередью. Но внутри зрела трещина.

Самым тяжёлым оказалась практика. Нас водили в больницы, показывали палаты, процедурные, реанимацию. Я видел стариков, лежащих в коридорах, слышал стоны, запах мочи и лекарств. Всё это давило. Не отвращение — тяжесть. Как будто на плечи клали мешки с песком.

Однажды нас привели в морг. Учебное вскрытие. Я не буду описывать детали — их до сих пор вспоминаю с содроганием. Но я запомнил своё состояние: я стоял, смотрел и не чувствовал ничего. Ни интереса, ни страха, ни профессионального любопытства. Только пустоту. Гулкую, как колодец, в который упал камень и не долетел до дна.

Преподаватель сказал: «Кто не готов — может выйти». Я вышел. Не потому что боялся — потому что не видел смысла притворяться. Меня не тошнило, не кружилась голова. Просто внутри было «не моё». Как если бы тебя заставили читать

книгу на языке, которого ты не знаешь.

Именно в начале второго курса случилось то, что ненадолго выдернуло меня из этой пустоты. Я познакомился с Асей. Она жила в соседней комнате общежития, на первом этаже. Мы играли в карты на желания, я орал от восковых полосок на ногах, а она смеялась так, что слышали на всех этажах. Это были мои первые настоящие отношения. Не по переписке, не на расстоянии — живые, с ночными посиделками на кухне, с её розовым Samsung, который потом утонул в луже, со спорами до хрипоты и глупыми примирениями на лестничной клетке.

Третий курс. Трещина превращается в разлом

К третьему курсу я уже чётко понимал: я здесь чужой. Анатомия, латынь, процедуры — всё это было не моим языком. Я смотрел на однокурсников, которые распределялись по отделениям, спорили о будущих специальностях, и чувствовал только глухую усталость.

По ночам я лежал в кровати и прокручивал в голове: «Зачем я здесь? Кому я буду помогать? Как я смогу лечить людей, если меня тошнит от мысли, что я должен это делать всю жизнь?»

Я пробовал убедить себя: «Всё нормально, это просто

учёба, потом привыкнешь, потом найдёшь свою нишу». Но внутри зрело другое.

Ася к тому времени ушла. Мы расстались громко, с хлопками дверей и невысказанными обидами. Я винил себя. Она — меня. Правда была где-то посередине, но тогда мне казалось, что я теряю последнее, что держало меня на плаву. Песни, которые я писал после разрыва, были чёрными, как та самая синяя бездна, в которую я потом провалился много лет спустя. Я не играл их никому. Даже сам себе боялся признаться, насколько они честные.

Решение

Решение пришло не как гром среди ясного неба. Не было одного дня, одной фразы, одного провала на экзамене. Всё накапливалось постепенно, как вода, которая просачивается сквозь плотину — сначала незаметно, а потом сносит всё на своём пути.

В тот день было обычное занятие по терапии. Преподава-

тель вызвал меня к доске, спросил симптомы инфаркта миокарда. Я отбарабанил всё как по писаному — идеально, без запинки. Она похвалила, поставила пятёрку, сказала: «Из тебя выйдет хороший врач».

Я вышел из аудитории, спустился на первый этаж, зашёл в туалет, посмотрел на себя в зеркало. Белый халат, бейджик с моей фамилией, уставшие глаза. Я снял халат, повесил на крючок. Постоял. Потом снял бейджик, положил в карман. И вдруг понял: я больше никогда его не надену.

Не потому что кто-то сказал. Не потому что меня выгнали. Просто потому что я не хочу быть тем, кого из меня лепят. Не хочу носить белый халат, который мне не по размеру — не в плечах, а в душе. Не хочу врать себе каждый день, заходя в учебную аудиторию. Не хочу просыпаться с мыслью, что проживаю чужую жизнь.

Я вышел из колледжа. Весенний воздух ударил в лицо. На улице пахло молодой листвой и свободой. Я сел на лавочку, достал сигарету, закурил и просто смотрел на облака. Долго. Минут двадцать. Ни о чём не думал. Просто дышал.

В голове крутились обрывки мелодий. Те самые, которые я не дописал. Я знал: теперь у меня будет время. Не будет латыни, анатомии, белых халатов. Будут только песни. И, может быть, когда-нибудь — настоящая любовь. Не такая, как с Асей, которая обжигает и уходит. А другая. Та, что остаётся.

После

Вечером я сказал маме. Она сидела на кухне, вязала. Я вошёл, сел напротив, помолчал. Потом сказал: «Я ухожу из медицинского».

Она не спросила «почему». Не заплакала. Не стала уговаривать. Она отложила спицы, посмотрела на меня долгим, тяжёлым взглядом — тем самым, который видит насквозь. Потом кивнула.

— Твоя жизнь, — сказала она тихо. — Твой выбор.

И замолчала. Она умела молчать, когда понимала, что слова не помогут.

Отчим сказал ещё короче: «Ну и ладно». И всё. Ни упрёков, ни обид. Просто приняли. Как принимали всё, что я делал. Может, они ждали этого. Может, сами видели, что белый халат мне не идёт.

Мы больше не возвращались к этому разговору. Но я запомнил тот вечер на всю жизнь. Запомнил, как мама молча вязала, а я смотрел в окно. Как зажигались фонари. Как где-то лаяла собака. Как пахло пирогами из соседней квартиры.

Я не закончил медицинский. Не стал врачом. И ни разу об этом не пожалел. Потому что иногда самое правильное решение — не то, которое ждут от тебя. А то, после которого ты можешь смотреть на себя в зеркало и не отводить глаза.

Спустя годы, когда я писал «Ангела на том конце провода» и «Застывший кадр», я часто вспоминал те ночи в общежитии. Гитару, которая грела, когда было холодно. Асю, которая первой поверила в мои песни. И тот момент, когда я вышел из медицинского и понял: я свободен. Не от ответственности — от чужой жизни.

Глава 14. Армия

После медицинского, после всех этих лет белого халата, латыни и чувства, что я живу не свою жизнь, мне нужно было что-то другое. Резкое. Настоящее. Без иллюзий. И армия пришла как раз тогда, когда я перестал ждать.

Не срочная — контракт. Пять лет. Я подписал документы, даже не дочитав до конца некоторые пункты. Мама молчала, когда я сказал. Она уже знала: меня не переубедить. Отчим только спросил: «Ты уверен?» Я кивнул. Он больше ничего не сказал.

Жизнь разделилась на «до» и «после».

Учебка. Первые дни

Нас отправили в учебку под Тюменью. Место, где из гражданских делают солдат. Первые дни слились в один бесконечный кошмар: подъём в шесть, отбой после одиннадцати, бег в любую погоду, стрельбища, марш-броски, физдо до дрожи в коленях.

Инструкторы были злые, уставшие и очень опытные. Они не орали без дела — они просто требовали. По делу. «Ты

должен стать железом, — говорил старшина, глядя сквозь нас. — Потому что железо не ноет, железо не боится, железо делает, что приказано».

Я учился завязывать берцы за тридцать секунд, чистить автомат с закрытыми глазами, спать сидя в бронежилете. Тело болело постоянно. Но голова... голова наоборот успокаивалась. Когда ты занят каждую секунду, когда твоя жизнь — это приказы и их выполнение, у тебя просто нет времени на вопросы «кто я?» и «зачем я здесь?». Ты просто делаешь.

Распределение.

После учебки меня распределили в часть в Челябинской области. Не самая престижная, не самая элитная — просто воинская часть, где служба была настоящей. Без поблажек, без лишних разговоров. Подъём, зарядка, занятия, наряды, выезды на полигоны. Дни сливались в недели, недели в месяцы. Я привыкал. Тело привыкало, голова привыкала. Я учился терпеть, молчать, делать, что прикажут. Не рассуждать. В армии рассуждения — роскошь, которую не могут позволить себе даже офицеры.

Учения. Леса, поля и холод

Каждые несколько месяцев нас вывозили в поля. Жили

в палатках, спали на голой земле, ели из котелков, которые мыли в ледяной воде. Осенью — слякоть, зимой — мороз под тридцать, весной — распутица, когда техника вязла в грязи и мы толкали её вручную.

Я запомнил одно учение в январе. Снег по колено, ветер такой, что лица не видно, а мы идём марш-броском через лес. Ноги в мокрых берцах, пальцы не чувствуют приклада, а старшина орёт: «Не останавливаться! Замёрзнете — никто не обогреет!» Мы шли. Шли, потому что другого выхода не было.

Ночью, когда наконец разрешали привал, я сидел у костра, смотрел на звёзды и думал о доме. О маме, которая наверняка не спит и смотрит в потолок. О сестре, которая подрастает без меня. О деревне, где всё осталось таким же, каким было, но уже без меня. Дым от костра тянулся вверх, смешивался с паром от дыхания, и казалось, что это единственное тёплое, что осталось в этом ледяном мире.

Армия меняет

Служба меняла меня. Я стал жёстче, собраннее. Научился вставать по команде, держать спину, смотреть вперёд. Научился не ныть, не жаловаться, не просить. Научился ждать. Того, что кончится. Того, что наступит другая жизнь.

Я заметил это, когда впервые за долгое время взял в руки гитару в клубе части. Пальцы помнили аккорды, но музыка звучала иначе. Глубже, что ли. Или просто я стал другим. Сослуживцы слушали, не перебивали, а потом кто-то сказал:

«Нормально играешь, братан. Ты где научился?» Я не ответил. Просто улыбнулся.

Смерть отца. Январь 2017

Этот день я запомнил навсегда. Было обычное утро, построение, завтрак, потом занятия. Я уже привык к этой рутине, когда меня вызвал замкомвзвода: «Руслан, к телефону». Я удивился — звонки в неурочное время редко сулили что-то хорошее.

Я взял трубку. Мама молчала несколько секунд. Потом сказала коротко, сухо, как будто боялась разрыдаться в голос:

— Его больше нет.

Я не переспросил. Я знал, о ком она. Отец. Тот, которого я почти не помнил. Тот, кто дал мне жизнь, но не научил, как ею распоряжаться. Я стоял в казарме, сжимал телефон, смотрел в одну точку на обшарпанной стене. Внутри было пусто. Не боль — тупая тяжесть, как будто кто-то положил руку на плечо и не убирал.

Я не плакал. Не мог. Сослуживцы не спрашивали. Они чувствовали, когда надо молчать. Кто-то просто положил руку на плечо, кто-то принёс кружку чая. Мы не говорили о смерти — мы просто были рядом.

Незакрытая дверь

Я не был на похоронах. Контракт, приказ, часть. Начальство сказало: «Отпуск дадим, но не сейчас». Я не спорил. Не потому что не хотел — потому что не видел смысла. Отец уже не ждал. Он ушёл, а я остался. С дверью, которая так и не закрылась до конца.

Сквозь неё дуло всю оставшуюся службу. По ночам, когда не спалось, я лежал в казарме, смотрел в потолок и думал о нём. О том, что мы почти не говорили. О том, что я не успел. О том, что теперь уже никогда не успею.

Я писал маме, звонил сестре, спрашивал, как они. Они говорили: «Держимся». Я говорил: «Я скоро». Скоро тянулось долго. Очень долго.

Армия — это время, которое идёт иначе

Ты считаешь дни до увольнения, до отпуска, до дембеля. Ты ставишь галочки в календаре, который ведёшь в тетрадке. Ты ждёшь. И в этом ожидании — вся жизнь.

А потом в какой-то момент ты понимаешь: ты уже не тот, кто заходил в эти ворота пять лет назад. Ты стал другим. Крепче, может. Или просто старше. Или просто устал. Устал так, что хочется лечь и не вставать. Но ты встаёшь. Потому что армия научила тебя вставать.

Дембель. Свобода

Я отслужил пять лет. Контракт закончился, я подписал обходной лист, сдал форму, получил документы. Когда я вышел за КПП, воздух показался другим. Свободным. Но свобода была странной. Слишком тихой, слишком пустой. Я стоял на остановке с вещмешком за спиной и не знал, что делать дальше. Куда идти. Кем быть.

В автобусе я сидел у окна, смотрел на мелькающие за окном поля и леса — те самые, где мы мёрзли на учениях, — и чувствовал, как внутри поднимается что-то забытое. Не страх. Не радость. Просто тишина. Та самая, которая была до армии. Которая ждала моего возвращения.

Дом

Я вернулся домой. Мама обняла меня на пороге так крепко, что хрустнули кости. Я чувствовал, как она дрожит. Она не плакала — она просто держала меня, будто боялась, что я снова уйду.

Сестра стояла в дверях комнаты. Она выросла. Из маленькой девочки, которую я носил на руках, превратилась в подростка — с длинными волосами, серьёзными глазами и недо-

верчивым взглядом. Я не узнал её. Она не узнала меня.

Пять лет — это много. Я не успел заметить, как она выросла. Как мама постарела. Как отчим стал ещё молчаливее.

Я прошёл в свою комнату. Всё было на своих местах: старый стол, книжная полка, гитара в углу, покрытая пылью. Я сел на кровать, провёл пальцем по струнам. Они зазвучали — чуть глухо, чуть фальшиво, но это была музыка. Моя музыка. Та, которую я не играл пять лет.

Я закрыл глаза и вдохнул запах дома. Свобода оказалась не там, за КПП. Она была здесь. В этой комнате. В этой тишине. В этих струнах.

Послесловие к главе

Армия не сделала меня героем. Она не научила меня побеждать врагов или любить родину громкими словами. Она научила меня одному: терпеть. Ждать. И не сдаваться, даже когда кажется, что всё кончено.

Спустя годы, когда я писал «Ангела на том конце провода», я часто вспоминал те ночи в палатках, когда я смотрел на звёзды и думал о доме. И о том, что когда-нибудь я вернусь. Не таким, как ушёл. Но живым. И это было главным.

Глава 15. Ася.

Часть 1. Август. Запах ванили

За окном стояла дивная погода – та самая, какая бывает только на исходе лета, когда воздух уже не парит, а ласково обволакивает, когда солнце не печёт, а золотит, и каждый лист на деревьях кажется налитым светом изнутри. Я стоял у окна в пустой комнате общежития и смотрел, как во дворе девчонки из подготовительного отделения развешивают бельё. Они смеялись, брызгались водой из таза, гонялись друг за другом, и этот смех влетал в открытую форточку вместе с запахом нагретой пыли, скошенной травы и чего-то ещё, неуловимую, что бывает только в конце августа, когда лето уже уходит, но ещё держится за подоконники пальцами уходящего тепла.

Мне предстояло вернуться в медицинский колледж. Я перешёл на второй курс акушерского отделения. Выбор этой специальности до сих пор кажется мне странным – парень в акушерстве, тогда это вызывало удивление, а иногда и откровенные насмешки. «Будешь бабок принимать?» – ржали

в компании. «Буду, – отвечал я. – А ты будешь кофе носить, если повезёт». Меня это не смущало. Я хотел помогать людям, и какая разница, как именно? К тому же, подумал я цинично, безработным акушер не останется – дети рождаются каждый день, независимо от кризисов и политической обстановки.

Двадцать девятого августа в общежитии началось распределение комнат. Я не спешил. Знал, что мой сосед – парень опытный, старшекурсник – обо всём позаботится. Мы познакомились ещё весной, когда я заезжал на экскурсию, и сразу нашли общий язык. Сергей – так его звали – был из тех людей, которые умеют создать уют где угодно, даже в общажной клетушке: повесить полочку, прибить крючок, уговорить коменданта на лишний стул, раздобыть где-то старый торшер с бахромой, чтобы было не так казённо.

Тридцатого августа я без проблем заселился. Четыре стены, два шкафа, две кровати с панцирными сетками, которые скрипели при каждом движении, стол, застеленный старой газетой с программой передач, – вот и всё наше богатство. Но пахло здесь жизнью. Молодостью. Ожиданием чего-то нового. Пахло дешёвым стиральным порошком, чужими сигаретами, вчерашними пельменями и тем особенным запахом общаги, который не спутаешь ни с чем – смесь пота, надежды, дешёвых духов и вечного кипятка из титана.

Я бросил сумку на пол, плюхнулся на скрипучую сетку кровати и уставился в потолок. На нём желтели разводы от

протечек – прошлогодние, а может, и более древние. Интересно, сколько таких же, как я, лежало здесь и смотрело на эти пятна, мечтая о любви, приключениях, большой жизни? И скольким из этих мечтаний суждено было сбыться?

В тот же вечер отправился к однокурсникам. Нина – моя добрая подруга, которая учила меня готовить пельмени и помогала с анатомией, – жила этажом выше. Мы сидели у неё на кухне, пили чай с баранками, которые она привезла из дома, и болтали до темна.

– Ты слишком зажатый, Руслан, – сказала она, поправляя очки, которые всё время съезжали на нос. – Девушки любят уверенных. А ты краснеешь, стоит им заговорить.

– Ну не всем же быть такими, как ты, – отшутился я, размешивая сахар в кружке. – Ты вон любого заговоришь, хоть парня, хоть преподавателя.

– Я – другое дело, – Нина вздохнула, откусывая баранку. – Я им как свой парень. А ты – симпатичный, между прочим. Просто молчишь много. Создаёшь ореол загадочности, но в наше время это не работает. Надо быть проще.

– Молчуны тоже кому-то нравятся.

– Нравятся, – согласилась она. – Только они сами должны кому-то нравиться, а для этого нужно хотя бы глаза поднимать при разговоре.

– Я поднимаю.

– Ты в пол смотришь, когда с девушкой говоришь. Я видела. И уши у тебя краснеют. Прямо до свечения.

Я промолчал. Она была права, но признаваться не хотелось. Я действительно терялся в присутствии девушек, особенно симпатичных. Слова куда-то улетучивались, руки становились лишними, и хотелось провалиться сквозь землю.

– Ладно, – Нина махнула рукой, отправляя в рот очередную баранку. – Вот увидишь, всё изменится. Появится та, ради которой глаза сами поднимутся. И уши перестанут краснеть.

Она оказалась права. И быстрее, чем я думал.

Часть 2. Знакомство

Вернувшись к себе, обнаружил, что Сергея нет. Вспомнил: он собирался резаться в карты с первокурсниками в соседней комнате. Наши комнаты были в одной секции – четыре двери, общий коридор, туалет в конце и вечный запах варёной капусты, который, казалось, въелся в стены ещё при строительстве. Идеальное место для знакомств, как любил шутить Сергей. Двери редко закрывались, народ ходил друг к другу в гости без стука, и к полуночи вся секция знала, у кого что случилось за день.

Я постучал в дверь комнаты напротив. Дверь открыла невысокая девушка с живыми, чуть раскосыми глазами. Тёмные волосы собраны в небрежный хвост, простая футболка

с принтом какого-то рок-фестиваля, потёртые джинсы, на ногах носки с забавными совами. Ничего особенного, если описывать по пунктам. Но что-то в её взгляде – прямоотой, насмешкой, искрой – заставило меня замешкаться. Я забыл, что хотел сказать. Слова застряли где-то в гортани.

– Вам кого? – спросила она. Голос низкий, с хрипотцой, будто она только проснулась или много курит.

– Тут... сосед мой, Сергей, – выдавил я, чувствуя, как уши начинают теплеть.

Из-за её спины донеслось знакомое:

– Руслан, заходи! Чего встал? Не стесняйся, тут свои!

Я вошёл. Комната оказалась точной копией нашей: тот же набор мебели, те же обшарпанные стены, тот же вид из окна на трансформаторную будку. Но выглядела она совершенно иначе. На стенах висели постеры – «Бумбокс», «Океан Эльзи», какой-то зарубежный актёр с грустными глазами, кадр из фильма «Титаник». На подоконнике в пластиковых бутылках, разрезанных пополам, цвели какие-то неприхотливые растения – алоэ, толстянка, ещё что-то зелёное. Пахло ванилью и ещё чем-то сладким, домашним, что никак не вязалось с общажным антуражем.

За столом, заваленным картами, орешками, пустыми стаканами из-под чая и горой фантиков от конфет, сидели трое: Сергей, ещё один парень с нашего этажа по кличке Кузя, и девушка, которая, судя по всему, была соседкой той, что открыла дверь. Она листала какой-то глянцевого журнала и

грызла семечки, ловко выплёвывая шелуху в пустую пачку из-под сигарет.

– Знакомься, – сказал Сергей, указывая на девушек. – Это Алина и Ася.

Та, что открыла дверь, оказалась Алиной. А вторая – с лукавой улыбкой, копной непослушных волос, которые никак не хотели укладываться в причёску, и ямочками на щеках, появлявшимися при каждой улыбке, – махнула рукой:

– Можно просто Ася. Так меня все друзья зовут. А ты Руслан? Я слышала, ты на акушерском? Круто! Будешь детей принимать?

Я кивнул, чувствуя, как предательски краснеют не только уши, но и щёки, и даже шея.

– Не ссы, прорвёмся, – подмигнула она. – Садись, места много.

Ася сразу же взяла инициативу в свои руки. Она вообще была из тех, кто заполняет собой любое пространство, не спрашивая разрешения.

– Ну что, в карты? Или как обычно – будем сидеть и смотреть друг на друга, как бараны на новые ворота?

– В карты, – поддержал Сергей. – На желания. Это святое.

– О, это я люблю, – Ася потёрла ладони, глаза её загорелись азартом. – Давайте, не трусьте! Что за студенческая жизнь без глупостей? Через десять лет будет что вспомнить.

Она раздала карты быстрыми, ловкими движениями, как заправский шулер. Я украдкой рассматривал её: тонкие

пальцы без колец, запястье с плетённым фенечком из разноцветных ниток, маленькая родинка над губой. Она поймала мой взгляд и усмехнулась:

– Что смотришь? Боишься проиграть?

– Я вообще-то везучий, – буркнул я, принимая карты.

– Везучий? – переспросила Алина, отрываясь от журнала. – Ася, слышишь? У нас тут везунчик. Прямо Золушок в штанах.

– Скромный, везучий, да ещё и смешной, – Ася покачала головой. – А говорил – стеснительный. Где ты там стеснительный? Ты ж на всю округу прокричал.

– Я не стеснительный. Я... осторожный. До поры до времени.

– С такими запросами осторожным не будешь, – поддел Сергей, тасуя карты. – Давай дальше играть, пока комендантша не пришла.

Часть 3. Ночь

Играли долго. Желания становились всё безумнее. Кто-то должен был спеть под окнами серенаду (пели «Владимирский централ», потому что других слов никто не знал), кто-то – признаться в любви первой встречной в туалете (признались венику). Самое дурацкое выпало нам с Сергеем: надеть на голову подушку, пройтись по всем четырём этажам и орать: «Я с Панч-Бобом, и у меня всё не так, как надо!»

– Это жестоко, – простонал Сергей. – Я же активист, меня все знают.

– Это весело! – рассмеялась Ася. – Вперёд, мальчишки, мы ждём. И не вздумайте сжутьничать – у нас есть шпионы на каждом этаже.

Мы пошли. В одних трусах, с подушками на головах, придерживая их руками, мы бродили по этажам, выкрикивая дурацкую фразу. Жильцы выглядывали из комнат – кто-то смеялся, кто-то грозил кулаком, кто-то пытался сфоткать на кнопочный телефон. А нам уже было всё равно. Мы вернулись красные, запыхавшиеся, но почему-то счастливые, как нашкодившие, но прощённые щенки.

Потом я предложил своё желание: восковые полоски на ноги. Ася привезла их откуда-то для своих экспериментов.

– Ты серьёзно? – Ася приподняла бровь. – Ты понимаешь, что это больно? Девочки, он вообще в курсе?

– Абсолютно. Проигравший выполняет. Правила есть правила.

И, конечно, проиграл я. Карта не легла.

Боль была адская. Представьте: вы сидите на кровати, вокруг собрались зрители, вам клеят на ноги полоски, а потом резко дёргают, выдирая волосы с корнем. Я орал так, что, наверное, слышали на первом этаже. Ася хохотала до слёз, утирая глаза ладонями и падая на подругу.

– Ты такой смешной! – выдохнула она сквозь смех. – И глупый, что согласился. И смешной. И вообще...

– Что – вообще?

– Ничего, – она вдруг смутилась, отвела взгляд. – Давай лучше чай пить. У меня есть печенье. И зефир.

Часа в два ночи нас разогнали по комнатам – слишком шумно, комендантша пригрозила выселением и вызовом милиции. Я лёг, закрыл глаза, но сон не шёл. Перед глазами стояла она: как поправляла волосы, откидывая их с лица; как щурилась, когда смеялась; как кусала губу, когда задумывалась над картами. В комнате было тихо, Сергей уже сопел, свернувшись калачиком. Я взял телефон. Экран осветил потолок холодным, синеватым светом.

«Чем занимаешься?» – написал я Асе.

Три точки заплясали на экране. Сердце пропустило удар, потом ещё один, потом понеслось вскачь.

«Приходи – узнаешь».

Я встал так тихо, как только мог. Накинул футболку и босиком, держа кеды в руках, чтобы не стучать каблуками, вышел в коридор. В её комнате горел ночник – тусклый, жёлтый, похожий на свечу. Пахло ванилью и яблоками – на столе стояла надкусанная половинка, уже успевшая потемнеть на срезе. Она сидела на кровати, поджав под себя ноги, и листала что-то в телефоне. Подняла глаза, и в них не было удивления. Будто знала, что я приду. Будто ждала.

– Не спится? – шёпотом.

– Неа. – Я мялся в дверях, не зная, можно ли войти.

– Заходи, чего встал? Простынешь.

Я сел рядом на край кровати. Она подвинулась, уступая место, укрылась пледом до подбородка.

– О чём думаешь? – спросила.

– О тебе.

– Врёшь. – Она усмехнулась, но как-то мягко, без насмешки.

– Не вру. Честно.

– А если не врёшь, тогда что именно обо мне?

– Не знаю, – я правда не знал, как объяснить. – Просто... ты есть. И всё.

– Поэт, – она толкнула меня плечом. – Ладно, давай спать. Завтра на пары, а я и так сова, мне вставать – пытка.

– Давай.

Мы легли. Я чувствовал тепло её спины, запах волос, тихое дыхание. Она дышала ровно, но я знал – не спит. Через минуту её рука нашла мою под одеялом и сжала. Просто сжала. И всё. Я замер, боясь спугнуть этот момент.

Так и уснули – держась за руки, как два уставших ребёнка.

Часть 4. Утро. Засосы

Утром, выходя из её комнаты на цыпочках, чтобы не разбудить, я поймал своё отражение в общажном зеркале, висевшем в коридоре. И обомлел.

Шея была в россыпи засосов – фиолетовых, синих, уже начинающих желтеть по краям. Целое художественное полотно. Я лихорадочно пытался прикинуть, можно ли это скрыть воротником.

«Чёрт».

Пришлось надеть рубашку с длинным рукавом и намотать шарф – тот самый, вязаный, с оленями, который мама сунула «на всякий случай». На улице был август, тридцатиградусная жара. Я потел и краснел, но шарф не снимал. Люди смотрели странно, но мне было плевать.

В коридоре столкнулся с Сергеем. Он присвистнул, увидев мою экипировку:

– Ого, брат, а шея у тебя... это что, осьминог душил? Или ты с каратистами подрался?

– Отстань, – буркнул я, пытаюсь пройти.

– Да ладно, я всё понимаю, – он хитро улыбнулся. – Поздравляю. Только смотри, чтоб комендантша не спалила. У нас тут строго с этими делами.

Из-за двери Асиной комнаты донеслось хихиканье. Дверь приоткрылась, и Ася высунулась в коридор – лохматая, заспанная, с подушкой в руках, но чертовски красивая в этом утреннем беспорядке.

– Руслан, ты свой паспорт забыл, – протянула мне документ, который я, видимо, выронил ночью.

Сергей вылупил на неё, потом на меня, потом снова на неё. До него начало доходить.

– А-а-а, вот оно что... Ну, бывай, Ромео. Вечером расскажешь.

Ася засмеялась и скрылась за дверью. А я стоял посреди коридора, сжимая паспорт, и чувствовал, как уши горят огнём ярче, чем все засосы на шее.

На занятия надо мной смеялись, друзья подкалывали, преподаватели косились на шарф, но никто ничего не сказал. А мне было плевать. Я всё равно думал о ней. О том, как она сжимала мою руку во сне. О том, как пахли её волосы. О том, что сказала перед тем, как мы уснули: «Спокойной ночи, Руслан».

Шарф стал моим первым компромиссом с миром ради неё. И далеко не последним.

Часть 5. Прогулка. Утонувший телефон

Через неделю мы пошли гулять по городу. Была суббота, тёплая, пыльная, пропитанная запахом увядающих листьев, шаурмы из ларька у вокзала и сладковатым дымком от мангалов в частном секторе. Ася светилась – надела своё любимое платье в цветочек, которое ей шло невероятно, волосы распустила, на губах – блеск. У неё был розовый Samsung – мечта тех лет, гляцевый и хрупкий, как мыльный пузырь, с блестящими стразами на чехле.

– Сфоткай меня, – командовала она, вставая в дурацкие

позы у каждого мало-мальски примечательного места. – Вот тут, у Ленина. Чтобы я и он – два истукана. И тут, у фонтана. И тут, на лавочке.

Я щёлкал, она позировала, меня выражения лица от трагической скорби до дикого восторга. Потом менялась ролями: я должен был изображать серьёзность и мужественность, а она строила рожицы, закатывала глаза, высовывала язык, пытаясь меня рассмешить.

– Ну посмотри на себя, – смеялась она, показывая снимок на экране. – Прямо как на паспорт! Расслабься, это жизнь, а не фотосессия для визы!

– Я расслаблен.

– Расслабленные так не смотрят. У тебя глаза напряжённые, как у кота, который увидел огурец.

– Просто я стараюсь запомнить этот момент. Каждую секунду.

Она замерла. Посмотрела на меня как-то по-новому – серьёзно, изучающе.

– Глупый, – сказала тихо, почти шёпотом. – Мы ещё тысячу таких моментов сделаем.

– Обещаешь?

– Обещаю.

Мы пошли дальше. В парке пахло попкорном и прелыми листьями, дорожки были усыпаны жёлтым ковром. Ася кружилась, ловя ртом падающие листья, а я смотрел на неё и думал: «Вот оно. Вот как должно быть. Именно так».

У фонтана, где плавали жирные утки и голуби мыли лапы в грязной воде, она решила сделать идеальное селфи на фоне заката. Поставила телефон на бортик, отошла на шаг, прищурилась, поправила волосы, наклонила голову... И задела локтем.

Розовый корпус сверкнул в лучах солнца, кувыркнулся в воздухе и с тихим, но отчётливым плеском ушёл в мутную зелёную воду.

Мы замерли. Секунду смотрели на расходящиеся круги, на пузырьки, поднимающиеся со дна.

– А-а-а! – заорала Ася и бросилась к фонтану, намереваясь, кажется, нырять прямо в одежде. Я еле успел перехватить её за талию, прижать к себе.

– Ты куда?! Там же вода холодная, грязная, мало ли чего на дне!

– Телефон! Там всё! Все фотки! Все сообщения! Номера! Всё!

– Утонет – новые сделаем, – сказал я, прижимая её к себе крепче. – Телефон – фигня.

– Но там же...

– Там ты. А ты здесь. Со мной.

Она затихла. Перестала вырываться. Подняла на меня глаза – мокрые, злые, благодарные одновременно.

– Дурак.

– Сам знаю.

– Нет, ты правда дурак. Такой дурак...

Телефон достал какой-то мужик, проходивший мимо с удочками – видимо, рыбак. Поругался, что молодёжь совсем сдурела, технику в воду роняет, что надо смотреть, куда ставишь, что раньше люди бережливее были. Ася трясущимися руками пыталась включить экран – бесполезно. Чёрный прямоугольник, от которого пахло тиной и мокрым пластиком.

– Всё, – выдохнула она обречённо. – Нет больше наших фоток. Нет ничего.

– Ну и хорошо, – сказал я, забирая у неё мёртвый телефон. – Будет что вспоминать без картинок. Так даже интереснее.

– Это почему?

– Потому что фотографии – это застывшее прошлое. А воспоминания – живые. Они меняются, обрастают деталями. Через десять лет мы будем вспоминать этот день, и он будет лучше, чем любая фотка.

Она посмотрела на меня долгим взглядом. В глазах блеснули слёзы, но губы уже подрагивали в улыбке.

– Ты иногда говоришь такие вещи... будто не тебе двадцать, а сто.

– Просто много думаю.

– Не надо много думать. Надо просто... быть.

Мы сели на скамейку. Я обнял её, она прижалась ко мне. Солнце садилось, окрашивая небо в оранжевый, розовый, фиолетовый. Где-то играла музыка, пахло шашлыком, смеялись дети. Обычный вечер. А для меня – особенный.

– Слушай, – сказала она, не поднимая головы. – А ты прав-

да меня любишь?

– Правда.

– А за что?

– Не знаю. Просто... ты есть. Ты – это ты. И мне хорошо.

– Мне тоже, – она вздохнула. – Давай никуда не пойдём.

Посидим ещё.

– Давай.

Мы сидели до темна. Смотрели, как зажигаются окна в общежитии, как кто-то вывешивает бельё на верёвку между деревьями, как пьяный первокурсник пытается попасть ключом в замок и никак не может. И молчали. Это было лучше всяких слов.

Часть 6. Конец

Три месяца пролетели как один миг. Три месяца эйфории, трёпа до утра, глупых ссор из-за ерунды и сладких примирений на лестничной клетке. Мы были неразлучны – вместе на парах, вместе в столовой, вместе ночами, когда весь этаж засыпал, а мы сидели на подоконнике в коридоре, курили в форточку (она, я не курил тогда) и говорили, говорили, говорили. Обо всём на свете. О страхах, о мечтах, о том, что будет через десять лет.

Нас уже считали одной из тех общажных пар, которые либо поженятся сразу после выпуска, либо разбегутся с грохо-

том, который будет слышен на всех этажах.

Всё кончилось неожиданно. Как отрезало. Без предупреждения, без объяснений. Однажды она перестала отвечать на сообщения, перестала выходить в коридор, когда я стучал, перестала улыбаться при встрече. Я не понимал – что случилось? Вчера же всё было хорошо, мы смеялись, строили планы на выходные.

Я караулил её у дверей несколько дней. Наконец дождался.

– Ася, постой.

– Чего тебе? – голос холодный, чужой. Она даже не смотрела на меня, смотрела куда-то в сторону, на грязную стену.

– Что случилось? Почему ты не отвечаешь? Я с ума схожу.

– Ничего не случилось. Просто... всё.

– Что – всё?

– Мы – всё, Руслан. Я устала.

– От чего устала? – мой голос дрогнул, в горле встал комок.

– От всего. От этих бесконечных ссор из-за ерунды, от твоей ревности, от того, что мы не можем просто быть... нормально. Как все.

– Мы можем, – я схватил её за руку, но она выдернула, будто обожглась. – Давай попробуем ещё раз. Я исправлюсь, честно. Я всё сделаю.

– Ты всегда так говоришь, – она высвободила руку, отступила на шаг. – А через неделю всё по новой. Я не хочу так.

Я не могу так.

– То есть ты хочешь расстаться?

Пауза. В коридоре кто-то прошёл с ведром, гремя крышкой. Где-то играла музыка, пахло борщом. Жизнь продолжалась, а для меня остановилась.

– Да, – выдохнула она. – Так будет лучше.

– Лучше для кого? Для тебя?

– Для обоих. Мы мучаем друг друга.

Я смотрел на неё и не узнавал. Где та девчонка, которая смеялась, когда я кукарекал в окно? Которая говорила «не ссы, прорвёмся», когда я паниковал перед экзаменом? Которая целовала меня в щёку на лавочке и говорила, что я странный и ей это нравится? Куда она делась?

– Ты не та, – сказал я тихо. – Ты изменилась. Ты стала другой.

– Я выросла, Руслан. А ты – нет. Прощай.

Она ушла. А я стоял в коридоре и смотрел на закрытую дверь. Внутри что-то оборвалось. Что-то важное, без чего я не представлял себя.

Часть 7. После

Мы не общались после этого. Жили в одной секции, но я боялся поднять глаза. Просто проходил мимо, делая вид, что разглядываю пол, изучаю трещины в линолеуме. Видел её в

столовой, на лестнице, в туалете – и каждый раз сердце проваливалось куда-то в живот, в пятки, в пол. Она проходила мимо, не замечая, или делая вид, что не замечает.

А потом, когда все разъехались на выходные, и общежитие опустело, она написала: «Скинь фильмы, скучно».

Я долго смотрел на экран, не веря своим глазам. Проверил имя – точно она. Перечитал сообщение раз десять. Потом набрал дрожащими пальцами: «Какие?»

«Ну, про футбол что-нибудь. Или про любовь. Или про всё сразу».

"Заходи, у меня на ноуте есть выбор".

Когда она вошла, сердце застучало так, будто внутри включили перфоратор. Я старался не показывать, как рад, как счастлив просто видеть её. Сидел за столом, делая вид, что занят, что-то ищу в папках.

Она подошла сзади, обняла, прижалась щекой к моей спине и прошептала на ухо:

– Я так соскучилась!

Как же я хотел услышать эти слова раньше! Месяц назад, два, три. Я обнял её в ответ, развернулся, уткнулся носом в волосы – пахло всё тем же шампунем, что и тогда, ванильным.

– Я тоже, – выдохнул я. – Очень.

Мы просидели до вечера. Болтали ни о чём, смеялись, вспоминали нашу историю, ссоры, примирения. Смотрели кино, но почти не видели экран. А потом она сказала, что ей

пора, что уже поздно.

Я проводил её до двери. Мы стояли в коридоре, и я не знал, что сказать.

– Пока, – сказала она.

– Пока.

И уехала. Навсегда.

Часть 8. Эпилог

Через два года я узнал: она вышла замуж. За того, кто полюбил её после меня, с кем-то познакомилась на практике. В 2015-м у них родилась дочь. Назвали Алиной – в честь неё самой, в честь той девчонки, с которой я познакомился в общежитии.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.